**Литература Группы 14/0 УНК, ДО**

**07.05.2020 срок выполнения: 11.05.2020**

**Тема:** М.А.Шолохов. Трагический пафос «Донских рассказов»

**Задание: 1. Что можете добавить к материалу по биографии и творчеству писателя.**

**2. Прочитайте рассказы «Родинка» и «Чужая кровь» из цикла «Донские рассказы», ответьте на вопросы:**

**рассказ «Родинка»:**

Каков центральный конфликт рассказа? В чем его трагизм?

Смысл названия рассказа

**рассказ «Чужая кровь»:**

Кто из героев «Чужая кровь» проходит тяжелый путь вочеловечивания?

Сформулировать идею рассказа.

Род Шолоховых

В шолоховском роду помимо легендарного Степана Шолоха (XV век), новгородского крестьянина (не случайно, видимо, первое писательское имя Шолохова - Михаил Шолох), выделяются три активнейших фигуры, говорящие о неукротимой энергии рода и о глубокой связи всех Шолоховых с Донской землёй, с Доном, великой казачьей рекой: Фирс Шолохов (1644 - 1708) из эпохи Петра I, его сын Сергей Фирсович Шолохов (1678 - 1720) - это пушкари из древнего Зарайска, городка на Рязанщине, поблизости от Коломны, где некогда в 1380 году сходились по пути на Куликово поле рати Дмитрия Донского, и дед писателя, Михаил Михайлович Шолохов, который подростком в 1850-ые годы оставил Зарайск, поселился на Верхнем Дону. Он был крепким купцом 2-й гильдии и имел на Дону три лавки с двумя питейными подвалами - в Вёшках, на хуторе Дудареве и на хуторе Кружилине. Не прошло и полвека, как цепкий род Шолоховых укоренился на Дону весьма прочно: об этом говорит и тот факт, что дед писателя женился на дочери купца Василия Мохова Марии Васильевне. Как ни рассматривай предысторию рода Шолоховых - во всём завидная прочность, устойчивость и изобилие твёрдости в характерах. А ведь разночинцы-иногородние на Дону - объект кастовой неприязни, антагонизма.

Отец писателя

Михаил Александрович: «Отец - разночинец, выходец из Рязанской губернии, до самой смерти (1925 год) менял профессии. Был последовательно «шибаем» (скупщиком скота), сеял хлеб на покупной казачьей земле, служил приказчиком в коммерческом предприятии хуторского масштаба, управляющим паровой мельницы…»

Отец Александр Михайлович Шолохов (1851 - 1925) после окончания церковно-приходской школы весьма энергично освоил именно навыки «говорливой» профессии приказчика, затем заведующего мануфактурной лавкой в хуторе Кружилине. Но в биографии образцового советского писателя образ отца превращался в образ передового разночинца, одержимого идеей самообразования, поместившего сына в одну гимназию, затем в другую.

По делам, связанным с закупкой и перепродажей хлеба, А.М. Шолохов часто бывал в соседнем с Кружилиным родовом имении помещика Попова Ясеновке (в «Тихом Доне» - это имение Листницких Ягодное), где познакомился с будущей матерью писателя, горничной хозяев («холопкой») Анастасией Даниловной Кузнецовой, в девичестве Черниковой (1871 - 1942). Она жила и служила здесь с 12 лет.

Судьба матери Шолохова

Из автобиографий М.А. Шолохова 30-ых годов о матери: «Дочь крепостного крестьянина, безземельного, обременённого большой семьёй, трудилась на земле».

Реально положение Анастасии Даниловны в Ясеновке в чём-то сделалось похожим на положение Аксиньи, только до определённого времени одинокой. Она фатально была обречена на типичный «усадебный» роман (соблазнение) с богатым «панычем».

Но видимо, чувство Дмитрия Попова к соблазнённой горничной с ярким характером было не поверхностным. И она не просто стала объектом ухаживаний молодого пана, но и обрела определённую власть в доме.

Видимо, для разрушения этой «горячки» красивую горничную, да ещё ожидавшую ребёнка от Дмитрия, хозяева поместья выдали замуж за зажиточного степенного казака-атамана Стефана Кузнецова. О каком-либо счастье в этом браке никому, видимо, мечтать, не приходилось. А когда родившаяся девочка умерла, то Анастасия, женщина, безусловно, гордая, с властным и твёрдым характером, уверенная в себе, опять вернулась в Ясеновку-Ягодное к Поповым.

Вызов родне…

Александр Михайлович Шолохов, её новый муж, по существу, женясь на ней, переступал через множество прочных преград: он вырвал жену из имения и из чужой семьи, сделал фактически «двоемужницей».

Может быть, один из самых сложных, несчастливых в семейном плане героев - Степан Астахов в «Тихом Доне» берёт начало в скрытой драме отца писателя?

Александр Михайлович был великим упрямцем: до 1913 года он жил с «двоемужницей», его сын носил фамилию Кузнецов. Годами продолжался этот вызов родне, вызов, породивший традиционный русский порок - пьянство, от которого он в итоге и умер.

Образование писателя

Чтобы дать сыну первоначальное образование, отец нанимает домашнего учителя Т.Т. Мрыхина, в 1912 году отдаёт сына в Каргинское мужское приходское училище по II классу обучения, а в 1914 году везёт его в Москву по поводу болезни глаз (клиника доктора Снегирёва, где лечился Шолохов, будет описана в романе «Тихий Дон») и отдаёт в приготовительный класс московской гимназии № 9 им. Г. Шелапутина. В 1915 году родители переводят Михаила в Богучаровскую гимназию, но обучение в ней было прервано революционными событиями. Не удалось завершить образование и в Вёшенской смешанной гимназии, куда Шолохов поступил в 1918 году. Из-за разгоревшихся вокруг станицы военных действий он вынужден был прервать образование, закончив только четыре класса.

Юность писателя

С 1919 года до конца Гражданской войны Шолохов жил на Дону, в станицах Еланской и Каргинской, охваченных Верхнедонским восстанием, то есть находился в центре тех драматических событий, которые будут воспроизведены в заключительных книгах «Тихого Дона».

С 1920 года, когда на Дону окончательно установилась советская власть, Михаил Шолохов, несмотря на юные годы (было ему тогда 15 лет), работал учителем по ликвидации безграмотности, служащим в станичном ревкоме, счетоводом, канцелярским работником, журналистом.

Год рождения Шолохова

В мае 1922 года Шолохов окончил краткосрочные курсы продовольственной инспектуры в Ростове и был направлен в станицу Букановскую в качестве налогового инспектора. «Я работал в жестокие годы (1921 - 1922) на продразвёрстке, - вспоминал писатель. - Я вёл крутую линию, да и время было крутое; шибко я комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти…» Особым совещанием ревтрибунала «за преступление по должности» Шолохов был приговорён к расстрелу. В течение двух дней он ждал неминуемой смерти, но судьбе было угодно пощадить Шолохова. По некоторым данным, именно тогда он указал в качестве года рождения 1905-й, чтобы скрыть свой настоящий возраст и выдать себя за несовершеннолетнего, в то время как на самом деле родился на год или на два раньше.

На московских изогнутых улицах

Осенью 1922 года Шолохов приехал в Москву с намерением поступить на рабфак, куда он мог бы быть принят с четырьмя классами образования. Однако ни заводского стажа, ни комсомольской путёвки, которые требовались при поступлении, у него не было. С устройством на работу тоже было нелегко, так как к тому времени Шолохов не овладел никакой профессией. Он был вынужден работать грузчиком на Ярославском вокзале, мостил булыжные мостовые. Через год Михаил получил на бирже труда направление на должность счетовода в жилищное управление на Красной Пресне. Всё это время он активно занимался самообразованием, а служба в жилуправлении давала время и на литературную работу для газет и журналов.

11 января 1924 года Шолохов обвенчался с М.П. Громославской, дочерью станичного атамана ст. Букановской (1902 - 1992), связав с ней свою судьбу на долгих шестьдесят лет. Его жена была выпускницей епархиального училища. Этот факт подавался в анкетах нейтрально, «улучшенно» с классовой точки зрения: в них говорилось, что она - учительница средней школы, естественно, атеистка.

“Донские рассказы” были опубликованы в 1926 году. Их автор М. Шолохов в это время молод, но, несмотря на то, что ему 21 год, за его плечами уже очень многое: потрясения гражданской войны, мгновенно перечеркнувшие детство, прошедшее на Дону, в станице Вешенской. А затем – реальность другой жизни.

“Приходилось бывать в разных переплетах”,- позже напишет он в автобиографии. Он вспомнит себя, шестнадцатилетнего, на допросе, который вел сам Нестор Махно, и то, как, отпуская подростка, “батька” пригрозил ему на будущее жестокой расправой. Вспомнит, как его, командира продотряда, приговорили к расстрелу за превышение власти.

События того времени явились фактическим материалом, который лег в основу его первых рассказов.

Позже, в 1922 году, в Москве М. Шолохов знакомится с молодыми поэтами и прозаиками А. Безыменским, М. Светловым, А. Фадеевым, составлявшими группу “Молодая гвардия”, которые помогли молодому писателю опубликовать его первые рассказы о гражданской войне в “Журнале крестьянской молодежи” и на страницах газеты “Молодой ленинец”. Впоследствии М. Шолохов объединил эти рассказы в сборники “Донские рассказы” и “Лазоревая степь”.

В цикле « Донские рассказы» М.А.Шолохова нет еще большой истории, нет точного и подробного изложения всех происходящих событий. Да и не это интересует совсем молодого писателя. Его волнует утрата во время гражданской войны нравственных ориентиров в человеческой душе, потому что с выкорчеванной с кровью верой в Божьи заповеди идет разложение людских душ, начинается страшная братоубийственная война.

Трагедия гражданской войны в том, что смещаются границы добра и зла, лжи и справедливости, нарушаются естественные законы человеческого бытия. Человек у Шолохова поставлен в нравственную коллизию выбора, пытается соединить полярные стихии жизни – кровное и социальное. Именно здесь открылся в творчестве Шолохова «гуманизм непривычного масштаба», некая шолоховская «философская доминанта».

.

Михаил Александрович Шолохов

РОДИНКА

I

На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе, — анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупо рассказывает: Кошевой Николай . Командир эскадрона . Землероб . Член РКСМ .

Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: 18 лет .

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.

— Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая, — говорят шутя в эскадроне, — а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы «возраст» карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он — казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

— За гриву держись, сынок! — кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нонешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженную голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине:

— Ты того… того… Ты счастли… счастливый! Ну, да, счастливый! Родинка — это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

— Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он — счастье!..

И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон.

II

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цыбарки вызванивают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

— Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка.

— Вот он я! Ну, чего там еще?

— Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла…

— Веди его сюда.

Тянет нарочный к конюшне лошадь, пóтом горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом — на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста и с пакетом этим скакал сорок верст, не передыхая, нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадроном на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда… Военком стыдит: мол, слова правильно не напишешь, а еще эскадронный… Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он… А тут банда… Опять кровь, а я уж уморился так жить… Опостылело все…»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались: «В город бы уехать… Учиться б…»

Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

III

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду — полсотни казаков донских и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ним внáзирку — отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман: на стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области Войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанские, и — банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги степной. Боль, чуднáя и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет — дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.

IV

Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки.

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышиный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница…

А когда проснулся — из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

— Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрошаючи корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

— Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

— Мы — красные, дедок…Ты нас не бойся, — миролюбиво просипел атаман. — Мы за бандой гоняемся, от своих отбились… Може, видел вчера отряд тут проходил?

— Были какие-то.

— Куда они пошли, дедушка?

— А холера их ведает!

— У тебя на мельнице никто из них не остался?

— Нетути, — сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

— Погоди, старик. — Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: — Мы, дед, коммунистов ликвидируем… Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело! — Споткнулся, повод роняя из рук. — Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать… Чтобы в два счета!.. Понял? Где у тебя зерно?

— Нетути, — сказал Лукич, поглядывая в сторону.

— А в энтом амбаре что?

— Хлам, стало быть, разный… Нетути зерна!

— А ну, пойдем!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах просо и чернобылый ячмень.

— Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

— Зерно, кормилец… Отмол это… Год я его по зернушку собирал, а ты конями потравить норовишь…

— По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это — за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?

— Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня? — Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя…

— Говори: красные тебе любы?

— Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня, — голосил старик, ноги атамановы обнимая.

— Божись, что ты не за красных стоишь… Да ты не крестись, а землю ешь!..

Ртом беззубым жует песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает.

— Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном.

V

Заря в тумане, в мокрети мглистой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

— Кто идет? — окрик тревожный в тишине.

— Я это… — шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

— Кто такой? Что — пропуск? По каким делам шляешься?

— Мельник я… С водянки тутошней. По надобностям в хутор иду.

— Каки-таки надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед иди…— крикнул один, наезжая лошадью.

На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо.

— За мной иди!..

В окнах огонек маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

— Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:

— Куда шел?

Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся.

— Родимый, свои это, а я думал — опять супостатники энти… Заробел дюже и спросить побоялся… Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил… Аль запамятовал?..

— Ну, что скажешь?

— А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коньми!.. Смывались надо мною… Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

— А сейчас они где?

— Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить вашей милости, может хоть вы на них какую управу сыщете.

— Скажи, чтоб седлали!.. — С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

VI

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке.

— Как пойдем в атаку — лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!

И поскакал к развернутому эскадрону.

За кучей чахлых дубков на шляху показались конные — по четыре в ряд, тачанки в середине.

— Намётом! — крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.

\* \* \*

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.

Тук! — падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так!

И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!..

Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги…

— Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску… К перелеску, в кровину мать! — кричал атаман, привстав на стременах.

А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе…

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает», — обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился:не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя…

Чернея, крикнул:

— Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнущие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело… Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот…

\* \* \*

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, — с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.

1924

ЧУЖАЯ КРОВЬ

В Филипповку, после заговенья, выпал первый снег. Ночью из-за Дона подул ветер, зашуршал в степи обыневшим краснобылом, лохматым сугробам заплел косы и догола вылизал кочковатые хребтины дорог.

Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханая, забурьяневшая.

В полночь в ярах глухо завыл волк, в станице откликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся. Свесив с печки ноги, держась за комель, долго кашлял, потом сплюнул и нащупал кисет.

Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед, сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывая от легких мокроту, а в промежутках между приступами удушья думки идут в голове привычной, хоженой стежкой. Об одном думает дед — о сыне, пропавшем в войну без вести.

Был один — первый и последний. На него работал не покладая рук. Время приспело провожать на фронт против красных, — две пары быков отвел на рынок, на выручку купил у калмыка коня строевого, не конь — буря степная летучая. Достал из сундука седло и уздечку дедовскую с серебряным набором. На проводах сказал:

— Ну, Петро, справил я тебя, не стыдно и офицеру с такой справой идтить… Служи, как отец твой служил, войско казацкое и тихий Дон не страми! Деды и прадеды твои службу царям несли, должон и ты!..

Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отсветами лунного света, к ветру, — какой по двору шарит, не положенного ищет, — прислушивается, вспоминает те дни, что назад не придут и не вернутся…

На проводах служивого гремели казаки под камышовой крышей Гаврилиного дома старинной казачьей песней:

А мы бьем, не портим боевой порядок.

Слу-ша-ем один да приказ.

И что нам прикажут отцы-командиры,

Мы туда идем — рубим, колем, бьем!..

За столом сидел Петро, хмельной, иссиня-бледный, последнюю рюмку, «стременную», выпил, устало зажмурив глаза, но на коня твердо сел. Шашку поправил и, с седла перегнувшись, горсть земли с родимого база взял. Где-то теперь лежит он, и чья земля на чужбинке греет ему грудь?

Кашляет дед тягуче и сухо, мехи в груди на разные лады хрипят-вызванивают, а в промежутках, когда, откашлявшись, прислонится сгорбленной спиной к комелю, думки идут в голове знакомой, хоженой стежкой.

\* \* \*

Проводил сына, а через месяц пришли красные. Вторглись в казачий исконный быт врагами, жизнь дедову, обычную, вывернули наизнанку, как порожний карман. Был Петро по ту сторону фронта, возле Донца усердием в боях заслуживал урядницкие погоны, а в станице дед Гаврила на москалей на красных вынашивал, кохал, нянчил — как Петра, белоголового сынишку, когда-то — ненависть стариковскую глухую.

Назло им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, черными нитками простроченной вдоль суконных с напуском шаровар. Чекмень надевал с гвардейским оранжевым позументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон. Вешал на грудь медали и кресты, полученные за то, что служил монарху верой и правдой; шел по воскресеньям в церковь, распахнув полы полушубка, чтоб все видали.

Председатель Совета станицы при встрече как-то сказал:

— Сыми, дед, висюльки! Теперь не полагается.

Порохом пыхнул дед:

— А ты мне их вешал, что сымать-то велишь?

— Кто вешал, давно, небось, в земле червей продовольствует.

— И пущай!.. А я вот не сыму! Рази с мертвого сдерешь?

— Сказанул тоже.. Тебя же жалеючи, советую, по мне, хоть спи с ними, да ить собаки… собаки-то штаны тебе облатают! Они, сердешные, отвыкли от такого виду, не признáют свово…

Была обида горькая, как полынь в цвету. Ордена снял, но обида росла в душе, лопушилась, со злобой родниться начала.

Пропал сын — некому стало наживать. Рушились сараи, ломала скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. В конюшне, в пустых станках, по-своему захозяйствовали мыши, под навесом ржавела косилка.

Лошадей брали перед уходом казаки, остатки добирали красные, а последнюю, лохмоногую и ушастую, брошенную красноармейцами в обмен, осенью за один огляд купили махновцы. Взамен оставили деду пару английских обмоток.

— Пущай уж наше переходит! — подмигивал махновский пулеметчик. — Богатей, дед, нашим добром!..

Прахом дымилось все нажитое десятками лет. Руки падали в работе; но весною, — когда холостеющая степь ложилась под ногами покорная и истомная, — манила деда земля, звала по ночам властным неслышным зовом. Не мог противиться, запрягал быков в плуг, ехал, полосовал степь сталью, обсеменял ненасытную черноземную утробу ядреной пшеницей-гиркой.

Приходили казаки от моря и из-за моря, но никто из них не видал Петра. В разных полках с ним служили, в разных краях бывали — мала ли Россия? — а однополчане станичники Петра полком легли в бою со Жлобинским отрядом на Кубани где-то.

Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила.

Ночами слышал, как в подушку точила она слезы, носом чмыкала.

— Ты чего, старая? — спросит кряхтя.

Помолчит та немного, откликнется:

— Должно, угар у нас… голова что-то прибаливает. Не показывал виду, что догадывается, советовал:

— А ты бы рассольцу из-под огурцов. Сем-ка я слазю в погреб, достану?

— Спи уж. Пройдет и так!..

И снова тишина расплеталась в хате незримой кружевной паутиной. В оконце месяц нагло засматривал, на чужое горе, на материнскую тоску любуясь.

Но всё же ждали и надеялись, что придет сын. Овчины отдал Гаврила выделать, старухе говорит:

— Мы с тобой перебьемся и так, а Петро придет, что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить.

Сшили полушубок на Петров рост и положили в сундук. Сапоги расхожие — скотину убирать — ему сготовили. Мундир свой синего сукна берег дед, табаком пересыпал, чтобы моль не посекла, а зарезали ягнока — из овчинки папаху сшил сыну дед и повесил на гвоздь. Войдет с надворья, глянет, и кажется, будто выйдет сейчас Петро из горницы, улыбнется, спросит: «Ну, как, батя, холодно на базу?»

Дня через два после этого перед сумерками пошел скотину убирать. Сена в ясли наметал, хотел воды из колодца почерпнуть — вспомнил, что забыл варежки в хате. Вернулся, отворил дверь и видит: старуха на коленях возле лавки стоит, папаху Петрову неношенную к груди прижала, качает, как дитя баюкает…

В глазах потемнело, зверем кинулся к ней, повалил на пол, прохрипел, пену глотая с губ:

— Брось, подлюка!.. Брось!.. Что ты делаешь?!.

Вырвал из рук папаху, в сундук кинул и замок навесил. Только стал примечать, что с той поры левый глаз у старухи стал дергаться и рот покривило.

Текли дни и недели, текла вода в Дону, под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая.

В этот день замерзли на Дону окраинцы. Через станицу пролетела припозднившаяся ватага диких гусей. Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на образа второпях перекрестился.

— Здорóво дневали!

— Слава богу.

— Слыхал, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции пришел. Он ить с вашим Петром в одном полку служил!..

Спешил Гаврила по проулку, задыхаясь от кашля и быстрой ходьбы. Прохора не застал дома: уехал на хутор к брату, обещал вернуться к завтрему.

Ночь не спал Гаврила. Томился на печке бессонницей.

Перед светом зажег жирник, сел подшивать валенки.

Утро — бледная немочь — точит с сизого восхода чахлый рассвет. Месяц зазоревал посреди неба, сил не хватило дошагать до тучки, на день прихорониться.

\* \* \*

Перед завтраком глянул Гаврила в окно, сказал почему-то шепотом:

— Прохор идет!

Вошел он, на казака не похожий, чужой обличьем. Скрипели на ногах у него кованые английские ботинки, и мешковато сидело пальто чуднóго покроя, с чужого плеча, как видно.

— Здорóво живешь, Гаврила Василич!..

— Слава богу, служивый!.. Проходи, садись.

Прохор снял шапку, поздоровался со старухой и сел на лавку, в передний угол.

— Ну, и погодка пришла, снегу надуло — не пройдешь!..

— Да, снега нынче рано упали… В старину в эту пору скотина на подножном корму ходила.

На минутку тягостно замолчали. Гаврила, с виду равнодушный и твердый, сказал:

— Постарел ты, парень, в чужих краях!

— Молодеть-то не с чего было, Гаврила Василич! — улыбнулся Прохор.

Заикнулась было старуха:

— Петра нашего…

— Замолчи-ка, баба!.. — строго прикрикнул Гаврила. — Дай человеку опомниться с морозу, успеешь… узнать!..

Поворачиваясь к гостю, спросил:

— Ну, как, Прохор Игнатич, протекала ваша жизня?

— Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом, и то — слава богу.

— Та-а-ак… Плохó у турка жилось, значится?

— Концы с концами насилу связывали. — Прохор побарабанил по столу пальцами. — Однако и ты, Гаврила Василич, дюже постарел, седина вон как обрызгала тебе голову… Как вы тут живете при советской власти?

— Сына вот жду… стариков нас докармливать…— криво улыбнулся Гаврила.

Прохор торопливо отвел глаза в сторону. Гаврила приметил это, спросил резко и прямо:

— Говори: где Петро?

— А вы разве не слыхали?

— По-разному слыхали, — отрубил Гаврила.

Прохор свил в пальцах грязную бахромку скатерти, заговорил не сразу.

— В январе, кажись… Ну, да, в январе, стояли мы сотней возле Новороссийского города… Город такой у моря есть… Ну, обнакновенно стояли…

— Убит, что ли?.. — нагибаясь, низким шепотом спросил Гаврила.

Прохор, не поднимая глаз, промолчал, словно и не слышал вопроса.

— Стояли, а красные прорывались к горам: к зеленым на соединенье. Назначает его, Петра вашего, командир сотни в разъезд… Командиром у нас был подъесаул Сенин… Вот тут и случись… понимаете…

Возле печки звонко стукнул упавший чугун, старуха, вытягивая руки, шла к кровати, крик распирал ей горло.

— Не вой!!. — грозно рявкнул Гаврила и, облокотясь о стол, глядя на Прохора в упор, медленно и устало проговорил: — Ну, кончай!

— Срубили!.. — бледнея, выкрикнул Прохор и встал, нащупывая на лавке шапку. — Срубили Петра… насмерть… Остановились они возле леса, коням передышку давали, он подпругу на седле отпустил, а красные из лесу… — Прохор, захлебываясь словами, дрожащими руками мял шапку. — Петро черк за луку, а седло коню под пузо… Конь горячий… не сдержал, остался… Вот и все!..

— А ежели я не верю?.. — раздельно сказал Гаврила.

Прохор, не оглядываясь, торопливо пошел к двери.

— Как хотите, Гаврила Василич, а я истинно… Я правду говорю… Гольную правду… Своими глазами видал…

— А ежели я не хочу этому верить?!. — багровея, захрипел Гаврила. Глаза его налились кровью и слезами. Разодрав у ворота рубаху, он голой волосатой грудью шел на оробевшего Прохора, стонал, запрокидывая потную голову: — Одного сына убить?!. Кормильца?!. Петьку мово?!. Брешешь, сукин сын!.. Слышишь ты?!. Брешешь! Не верю!..

А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскрипывая по снегу валенками, прошел на гумно и стал у скирда.

Из степи дул ветер, порошил снегом; темень, черная и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах.

— Сынок! — позвал Гаврила вполголоса. Подождал немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал: — Петро!.. Сыночек!..

Потом лег плашмя на притоптанный возле скирда снег и тяжело закрыл глаза.

\* \* \*

В станице поговаривали о продразверстке, о бандах, что шли с низовьев Дона. В исполкоме на станичных сходах шепотом сообщались новости, но дед Гаврила ни разу не ступнул на расшатанное исполкомское крыльцо, надобности не было, потому о многом не слышал, многое не знал. Диковинно показалось ему, когда в воскресенье после обедни заявился председатель, с ним трое в желтых куценьких дубленках, с винтовками.

Председатель поручкался с Гаврилой и сразу, как обухом по затылку:

— Ну, признавайся, дед: хлеб есть?

— А ты думал как, духом святым кормимся?

— Ты не язви, говори толком: где хлеб?

— В амбаре, само собой.

— Веди.

— Дозволь узнать, какое вы имеете касательство к мому хлебу?

Рослый, белокурый, по виду начальник, постукивая на морозе каблуками, сказал:

— Излишки забираем в пользу государства. Продразверстка. Слыхал, отец?

— А ежели я не дам? — прохрипел Гаврила, набухая злобой.

— Не дашь? Сами возьмем!..

Пошептались с председателем, полезли по закромам, в очищенную, смугло-золотую пшеницу накидали с сапог снежных ошлепков. Белокурый, закуривая, решил:

— Оставить на семена, на прокорм, остальное забрать. — Оценивающим хозяйским взглядом прикинул количество хлеба и повернулся к Гавриле: — Сколько десятин будешь сеять?

— Чертову лысину засею!.. — засипел Гаврила, кашляя и судорожно кривляясь. — Берите, проклятые!.. Грабьте!.. Все ваше!..

— Что ты, осатанел, что ли, остепенись, дед Гаврила!.. — упрашивал председатель, махая на Гаврилу варежкой.

— Давитесь чужим добром!.. Лопайте!..

Белокурый содрал с усины оттаявшую сосульку, искоса умным, насмешливым глазом кольнул Гаврилу, сказал со спокойной улыбкой:

— Ты, отец, не прыгай! Криком не поможешь. Что ты визжишь, аль на хвост тебе наступили?.. — И, хмуря брови, резко переломил голос: — Языком не трепи!.. Коли длинный он у тебя — привяжи к зубам!.. За агитацию… — Не договорив, хлопнул ладонью по желтой кобуре, перекосившей пояс, и уже мягче сказал: — Сегодня же свези на ссыппункт!

Не то чтобы испугался старик, а от голоса уверенного и четкого обмяк, понял, что в самом деле криком тут не пособишь. Махнул рукой и пошел к крыльцу. До половины двора не дошел — дрогнул от крика дико-хриплого:

— Где продотрядники?!.

Повернулся Гаврила — за плетнем, вздыбив приплясывающую лошадь, кружится конный. Предчувствие чего-то необычайного дрожью подкатилось под колени. Не успел рта раскрыть, как конный, увидев стоявших возле амбара, круто осадил лошадь и, неуловимо поведя рукой, рванул с плеча винтовку.

Сочно треснул выстрел, и в тишине, вслед за выстрелом на короткое мгновение облапившей двор, четко сдвоил затвор, патронная гильза вылетела с коротким жужжаньем.

Оцепененье прошло: белокурый, влипая в притолоку, прыгающей рукой долго до жути тянул из кобуры револьвер, председатель, приседая по-заячьи, рванулся через двор к гумну, один из продотрядников упал на колено, выпуская из карабина обойму в черную папаху, качавшуюся за плетнем. Двор захлестнуло стукотнею выстрелов. Гаврила с трудом оторвал от снега словно прилипшие ноги и тяжело затрусил к крыльцу. Оглянувшись, увидал, как трое в дубленках недружно, врассыпную, застревая в сугробах, бежали к гумну, а в радушно распахнутые ворота хлынули конные.

Передний, в кубанке, на рыжем жеребце, горбатясь, приник к луке и закружил над головой шашку. Перед Гаврилой лебедиными крыльями мелькнули концы его белого башлыка, в лицо кинуло снегом, брызнувшим из-под лошадиных копыт.

Обессиленно прислонясь к резному крыльцу, Гаврила видел, как рыжий жеребец, подобравшись, взлетел через плетень и закружился на дыбках возле початого скирда ячменной соломы, а кубанец, свисая с седла, крест-накрест рубил ползавшего в корчах продотрядника…

На гумне обрывчатый, неясный шум, возня, чей-то протяжный, рыдающий крик. Через минуту гулко стукнул одинокий выстрел. Голуби, вспугнутые было стрельбой и вновь попадавшие на крышу амбара, сорвались в небо фиолетовой дробью. Конные на гумне спешились.

По станице неумолчно плескался малиновый трезвон. Паша — станичный дурачок — взобрался на колокольню и по глупому своему разуму хватил во все колокола, вместо набата вызванивая пасхальную плясовую.

К Гавриле подошел кубанец в наброшенном на плечи белом башлыке. Лицо его, горячее и потное, подергивалось, углы губ слюняво свисали.

— Овес есть?

Гаврила трудно двинулся от крыльца, подавленный виденным, не мог совладать с онемевшим языком.

— Оглох ты, черт?!. Овес есть? — спрашиваю. Неси мешок!

Не успели подвести лошадей к корыту с кормом, — в ворота вскочил еще один.

— По коням!.. С горы пехота…

Кубанец с проклятием взнуздал облитого дымящимся потом жеребца и долго тер снегом обшлаг своего правого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным.

Со двора их выехало пятеро, в тороках последнего угадал Гаврила желтую, в кровяных узорах дубленку белокурого.

\* \* \*

До вечера за бугром в терновой балке погромыхивали выстрелы. В станице побитой собакой, приниженно лежала тишина. Уже заголубели сумерки, когда Гаврила решился пойти на гумно. Вошел в настежь открытую калитку, увидел: на гуменном прясле, уронив голову, повис настигнутый пулей председатель. Руки его, свисая, словно тянулись за шапкой, валявшейся по ту сторону прясла.

Неподалеку от скирда на снегу, притрушенном объедьями и половой, лежали раздетые до белья продотрядники, все трое в ряд. И глядя на них, уже не ощутил Гаврила в дрогнувшем от ужаса сердце той злобы, что гнездилась там с утра. Казалось небывальщиной, сном, чтобы на гумне, где постоянно разбойничали соседские козы, обдергивая прикладок соломы, теперь лежали изрубленные люди; и от них, от талых круговин примерзшей пузырчатой крови, уже струился-тек запах мертвечины…

Белокурый лежал, неестественно отвернув голову, и если б не голова, плотно прижатая к снегу, можно было бы подумать, что лежит он отдыхая — так беспечно были закинуты его ноги одна за одну.

Второй, щербатый и черноусый, выгнулся, вобрав голову в плечи, оскалясь непримиримо и злобно. Третий, зарывшись головою в солому, недвижно плыл по снегу: столько силы и напряжения было в мертвом размахе его рук.

Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядываясь в почерневшее лицо, и дрогнул от жалости: лежал перед ним мальчишка лет девятнадцати, а не сердитый, с колючими глазами продкомиссар. Под желтеньким пушком усов возле губ стыл иней и скорбная складка, лишь поперек лба темнела морщинка, глубокая и строгая.

Бесцельно тронул рукою голую грудь и качнулся от неожиданности: сквозь леденящий холодок ладонь прощупала потухающее тепло…

Старуха ахнула и, крестясь, шарахнулась к печке, когда Гаврила, кряхтя и стоная, приволок на спине одеревеневшее, кровью почерненное тело.

Положил на лавку, обмыл холодной водой, до устали, до пота тер колючим шерстяным чулком ноги, руки, грудь. Прислонился ухом к гадливо-холодной груди и насилу услышал глухой, с долгими промежутками стук сердца.

\* \* \*

Четвертые сутки лежал он в горнице шафранно-бледный, похожий на покойника. Пересекая лоб и щеку, багровел запекшийся кровью шрам, туго перевязанная грудь качала одеяло, с хрипом и клокотаньем вбирая воздух.

Каждый день Гаврила вставлял ему в рот свой потрескавшийся, зачерствелый палец, концом ножа осторожно разжимал стиснутые зубы, а старуха через камышинку лила подогретое молоко и навар из бараньих костей.

На четвертый день с утра на щеках белокурого зарозовел румянец, к полудню лицо его полыхало, как куст боярышника, зажженный морозом, дрожь сотрясала все тело, и под рубахой проступил холодный и клейкий пот.

С этой поры стал он несвязно и тихо бредить, порывался вскакивать с кровати. Днем и ночью дежурили около него Гаврила поочередно со старухой.

В длинные зимние ночи, когда восточный ветер, налетая с Обдонья, мутил почерневшее небо и низко над станицей стлал холодные тучи, сиживал Гаврила возле раненого, уронив голову на руки, вслушиваясь, как бредил тот, незнакомым, окающим говорком несвязно о чем-то рассказывая; подолгу вглядывался в смуглый треугольник загара на груди, в голубые веки закрытых глаз, обведенных сизыми подковами. И когда с выцветших губ текли тягучие стоны, хриплая команда, безобразные ругательства и лицо искажалось гневом и болью, — слезы закипали у Гаврилы в груди. В такие минуты жалость приходила непрошенная.

Видел Гаврила, как с каждым днем, с каждой бессонной ночью бледнеет и сохнет возле кровати старуха, примечал и слезы на щеках ее, вспаханных морщинами, и понял, вернее — почуял сердцем, что невыплаканная любовь ее к Петру, покойному сыну, пожаром перекинулась вот на этого недвижного, смертью зацелованного, чьего-то чужого сына…

Заезжал как-то командир проходившего через станицу полка. Лошадь у ворот оставил с ординарцем, сам взбежал на крыльцо, гремя шашкой и шпорами. В горнице шапку снял и долго молча стоял у кровати. По лицу раненого бродили бледные тени, из губ, сожженных жаром, точилась кровица. Качнул командир преждевременно поседевшей головой, затуманясь и глядя куда-то мимо Гаврилиных глаз, сказал:

— Побереги товарища, старик!

— Поберегем! — твердо ответил Гаврила.

Текли дни и недели. Минули святки. На шестнадцатый день в первый раз открыл белокурый глаза, и услышал Гаврила голос, паутинно-скрипучий:

— Это ты, старик?

— Я.

— Здорово меня обработали?

— Не приведи Христос!

Во взгляде, прозрачном и неуловимом, почудилась Гавриле усмешка, беззлобно-простая.

— А ребята?

— Энти того… закопали их на плацу.

Молча пошевелил по одеялу пальцами и перевел взгляд на некрашеные доски потолка.

— Звать-то тебя как будем? — спросил Гаврила.

Голубые с прожилками веки устало опустились.

— Николай.

— Ну, а мы Петром кликать будем… Сын у нас был… Петро… — пояснил Гаврила.

Подумав, хотел еще о чем-то спросить, но услышал ровное, в нос дыхание и, удерживая руками равновесие, на цыпочках отошел от кровати.

\* \* \*

Жизнь возвращалась к нему медленно, словно нехотя. На другой месяц с трудом поднимал от подушки голову, на спине появились пролежни.

С каждым днем с ужасом чувствовал Гаврила, что кровно привязывается к новому Петру, а образ первого, родного, меркнет, тускнеет, как отблеск заходящего солнца на слюдовом оконце хаты. Силился вернуть прежнюю тоску и боль, но прежнее уходило все дальше, и ощущал Гаврила от этого стыд и неловкость… Уходил на баз, возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кровати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивое чувство. Шел в хату, молча топтался у изголовья кровати, негнущимися пальцами неловко поправлял наволочку подушки и, перехватив сердитый взгляд старухи, смирно садился на скамью и притихал.

Старуха поила Петра сурчиным жиром, настоем целебных трав, снятых весною, в майском цвету. От этого ли, или от того, что молодость брала верх над немощью, но раны зарубцевались, кровь красила пополневшие щеки, лишь правая рука, с изуродованной у предплечья костью срасталась плохо: как видно, отработала свое.

Но все же на второй неделе поста в первый раз присел Петро на кровати сам, без посторонней помощи, и, удивленный собственной силой, долго и недоверчиво улыбался.

Ночью в кухне, покашливая на печке, шепотом:

— Ты спишь, старая?

— А что тебе?

— На ноги подымается наш… Ты завтра из сундука Петровы шаровары достань… Приготовь всю амуницию… Ему ить надеть нечего.

— Сама знаю! Я ить надысь достала.

— Ишь ты, проворная!.. Полушубок-то достала?

— Ну, а то телешом, что ли, парню ходить!

Гаврила повозился на печке, чуть было задремал, но вспомнил и, торжествуя, поднял голову:

— А папах? Папах, небось, забыла, старая гусыня?

— Отвяжись! Мимо сорок разов прошел и не спотыкнулся, вон на гвозде другой день висит!..

Гаврила досадливо кашлянул и примолк.

Расторопная весна уже турсучила Дон. Лед почернел, будто источенный червями, и ноздревато припух. Гора облысела. Снег ушел из степи в яры и балки. Обдонье млело, затопленное солнечным половодьем. Из степи ветер щедро кидал запахи вокресающей полынной горечи.

Был на исходе март.

\* \* \*

— Сегодня встану, отец!

Несмотря на то, что все красноармейцы, переступавшие порог Гаврилиного дома, глянув на его волосы, опрятно выбеленные сединой, называли его отцом, на этот раз Гаврила почувствовал в тоне голоса теплую нотку. Казалось ли ему так, или действительно Петро вложил в это слово сыновью ласку, но Гаврила густо побагровел, закашлялся и, скрывая смущенную радость, пробормотал:

— Третий месяц лежишь… Пора уж, Петя!

Вышел Петро на крыльцо, ходульно переставляя ноги, и чуть было не задохнулся от избытка воздуха, втолкнутого в легкие ветром. Гаврила поддерживал его сзади, а старуха томашилась возле крыльца, утирая завеской привычные слезы.

Подвигаясь мимо нахохленной крыши амбара, спросил названный сын — Петро:

— Хлеб отвез тогда?

— Отвез… — нехотя буркнул Гаврила.

— Ну, и хорошо сделал, отец!

И опять от слова «отец» потеплело у Гаврилы в груди. Каждый день ползал Петро по двору, прихрамывая и опираясь на костыль. И отовсюду — с гумна, из-под навеса сарая, где бы ни был, — провожал Гаврила нового сына беспокойным, ищущим взглядом. Как бы не оступился да не упал!

Говорили между собою мало, но отношения увязались простые и любовные.

Как-то, дня два спустя после того, как в первый раз вышел Петро на двор, перед сном, умащиваясь на печке, спросил Гаврила:

— Откель же ты родом, сынок?

— С Урала.

— Из мужицкого сословия?

— Нет, из рабочих.

— Это как же? Рукомесло имел какое, навроде чеботарь али бондарь?

— Нет, отец, я на заводе работал. На чугунолитейном заводе. С мальства там.

— А хлеб забирать это как же пристроился?

— Из армии послали.

— Ты, что же, у них за командира был?

— Да, им был.

Было трудно спрашивать, но к этому вел:

— Значится, ты партейный?

— Коммунист, — ответил Петро, ясно улыбаясь.

И от улыбки этой бесхитростной уже не страшным показалось Гавриле чуждое слово.

Старуха, выждав время, спросила с живостью:

— А семья-то есть у тебя, Петюшка?

— Ни синь пороха!.. Один, как месяц в небе!

— Родители, должно, помёрли?

— Еще махоньким был, лет семи… Отца при пьянке убили, а мать где-то таскается…

— Эка сучка-то! Тебя, жалкенького, стало быть, кинула?

— Ушла с одним подрядчиком, а я при заводе вырос.

Гаврила свесил с печки ноги, долго молчал, потом заговорил, раздельно, медленно:

— Что ж, сынок, коли нету у тебя родни, оставайся при нас… Был у нас сын, по нем и тебя Петром кличем… Был, да быльем порос, а теперь вот двое с старухой кулюкаем… За это время сколько горя с тобой натерпелись; должно, от этого и полюбился ты нам. Хучь и чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за рóдного… Оставайся! Будем с тобой возле земли кормиться, она у нас на Дону плодовитая, щедрая… Справим тебя, женим… Я свое отжил, правь хозяйством ты. По мне, лишь бы уважал нашу старость да перед смертью в куске не отказывал… Не бросай нас, стариков, Петро…

За печкой верещал сверчок, трескуче и нудно.

Под ветром тосковали ставни.

— А мы со старухой тебе уже невесту начали приглядывать!.. — Гаврила с деланой веселостью подмигнул, но дрогнувшие губы покривились жалкой улыбкой.

Петро упорно глядел под ноги в выщербленный пол, левой рукой сухо выстукивал по лавке. Звук получился волнующий и редкий: тук-тик-так! тук-тик-так!.. тук-тик-так!..

Как видно, обдумывал ответ. И решившись, оборвал стук, тряхнул головой:

— Я, отец, останусь у вас с радостью, только работник из меня, сам видишь, плоховатый… Рука моя, кормилица, не срастается, стерва! Однако работать буду, насколько силов хватит. Лето поживу, а там видно будет.

— А там, может, навовсе останешься! — закончил Гаврила.

Прялка под ногою старухи радостно зажужжала, замурлыкала, наматывая на скало волокнистую шерсть.

Баюкала ли, житье ли привольное сулила размеренным, усыпляющим стуком — не знаю.

\* \* \*

Вслед за весной пришли дни, опаленные солнцем, курчавые и седые от жирной степной пыли. Надолго стало вёдро. Дон, буйный, как смолоду, бугрился вихрастыми валами. Полая вода поила крайние дворы станицы. Обдонье, зеленовато-белесое, насыщало ветер медвяным запахом цветущих тополей, в лугу зарею розовело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь. Ночами по-девичьи перемигивались зарницы, и ночи были короткие, как зарничный огневый всплеск. От длинного рабочего дня не успевали отдыхать быки. На выгоне пасся скот, вылинявший и ребристый.

Гаврила с Петром жили в степи неделю. Пахали, волочили, сеяли, ночевали под арбой, одеваясь одним тулупом, но никогда не говорил Гаврила о том, как крепко, незримой путой, привязал к себе его новый сын. Белокурый, веселый, работящий, заслонил собою образ покойного Петра. О нем вспоминал Гаврила все реже. За работой некогда стало вспоминать.

Дни шли воровской, неприметной поступью. Подошел покос.

Как-то с утра провозился Петро с косилкой. На диво Гавриле оправил в кузне ножи и сделал новые, взамен поломанных, крылья. Хлопотал над косилкой с утра, а смерклось — ушел в исполком: позвали на какое-то совещание. В это время старуха, ходившая по воду, принесла с почты письмо. Конверт был замусленный и старый, адрес на имя Гаврилы: с передачей товарищу Косых, Николаю.

Томимый неясной тревогой, Гаврила долго вертел в руках конверт с расплывчатыми буквами, размашисто набросанными чернильным карандашом.

Поднимал и глядел на свет, но конверт ревниво хранил чью-то тайну, и Гаврила невольно чувствовал нарастающую злобу к этому письму, изломавшему привычный покой.

На мгновение пришла мысль — изорвать его, но, подумав, решил отдать. Петра встретил у ворот новостью:

— Тебе, сынок, письмо откель-то.

— Мне? — удивился тот.

— Тебе. Иди читай!

Засветив в хате огонь, Гаврила острым, нащупывающим взглядом следил за обрадованным лицом Петра, читавшего письмо. Не вытерпел, спросил:

— Откель оно пришло?

— С Урала.

— От кого прописано? — полюбопытствовала старуха.

— От товарищей с завода.

Гаврила насторожился.

— Всчет чего же пишут?

У Петра, темнея, померкли глаза, ответил нехотя:

— Зовут на завод… Собираются его пускать. С семнадцатого года стоял.

— Как же?.. Стало быть, поедешь? — глухо спросил Гаврила.

— Не знаю…

\* \* \*

Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на кровати. Понял, после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не лохматить плугом степную целинную чернозёмь. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно, а отымет его, и снова черной чередой заковыляют безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землею сравнял бы, чтобы росла на нем крапива да лопушился бурьян!..

На третий день на покосе, когда сошлись у стана напиться, заговорил Петро:

— Не могу, отец, оставаться! Поеду на завод… Тянет, душу мутит…

— Аль плохо живется?..

— Не то… Завод свой, когда шел Колчак, мы защищали полторы недели, девятерых колчаковцы повесили, как только заняли поселок, а теперь рабочие какие пришли из армии, снова поднимают завод на ноги… Смертно голодают сами и семьи ихние, а работают… Как же я могу жить тут? А совесть?..

— Чем пособишь-то? Рукой ить неправ.

— Чуднó говоришь, отец! Там каждой рукой дорожат!

— Не держу. Поезжай!.. — бодрясь, ответил Гаврила. — Старуху обмани… скажи, что возвернешься… Поживу, мол, и вернусь… а то затоскует, пропадет… один ить ты у нас был…

И, цепляясь за последнюю надежду, шепотом, дыша порывисто и хрипло:

— А может, в самом деле возвернешься? А? Неужли не пожалеешь нашу старость, а?..

\* \* \*

Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, из-под колес, шурша, осыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто скользившая вдоль Дона, возле часовенки заворачивала влево. От поворота видны церкви окружной станицы и зеленое затейливое кружево садов.

Гаврила всю дорогу говорил без умолку. Пытался улыбаться.

— На этом месте года три назад девки в Дону потопли. Оттого и часовенка, — он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни. — Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. Отсель до станицы с версту, помаленечку дойдешь.

Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез с арбы. С усилием задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущиеся руки.

— Прощай, родимый!.. Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас… — И, кривя изуродованное болью, мокрое от слез лицо, резко, до крика повысил голос: — Подорожники не забыл, сынок?.. Старуха пекла тебе… Не забыл?.. Ну, прощай!.. Прощай, сынушка!..

Петро, прихрамывая, пошел, почти побежал по узенькой каемке дороги.

— Ворочайся!.. — цепляясь за арбу, кричал Гаврила.

«Не вернется!..» — рыдало в груди невыплаканное слово.

В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова, в последний раз махнул Петро картузом, и на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль.

1926